

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ

Первого октября похоронили маму. Похоронили скромно, тихо. Как жила она, так и ушла. Хоронил я на трезвую голову и потому такие мелочи запомнились, что просто жуть... А второго октября я уже толкался в коридорной очереди в Волчихинской больнице. Нужно было забрать свидетельство о смерти. Выстаивать пришлось довольно долго. И довольно странно было наблюдать: время от времени дверь открывалась и в морду мне наотмашь бил жизнерадостный смех — люди в белых халатах, они там чирикали о чем-то своем, о девичьем...

В Волчихе пробыл я девять дней. Как будто ждал, когда Господь прикажет ангелам свою душу матушки моей принести Ему на поклонение. Ждал, когда душа ее пречистая отлетит от тела и, может быть, звездой воссияет над полями алтайскими, над косматым бором Касмалинским.

Теперь вот возвратился в город Дивный. Будто бы к разбитому корыту возвратился — все представилось ненужным и никчемным. Жизнь продолжается, конечно. Только уже как-то не так продолжается — Земля как будто вертится уже в другую сторону.

Смотрю на дивногорские туманы, а перед глазами колыхнется туманно-серое свидетельство о смерти. И я время от времени думаю о том, что написать бы мне «Свидетельство о жизни» — широкое и многоцветное свидетельство о жизни моей матушки, простой русской женщины, рожденной в 1930 году, пережившей и голод, и холод, и войну, и разруху, и восстановление страны, и развал Советского Союза. Все это пережившая — душе и совести не изменившая, она потрясает меня своей сиротливой и непривлекательной судьбой. Да, написать бы, думаю. Но как-то жутковато подступаться к этой тяжелой теме. Боюсь, не подниму. Боюсь, что вынесет меня за орбиту обозначенной темы и полетят клочки по закоулочкам — клочки воспоминаний, ассоциаций...

Перед отъездом из Волчихи перебирал старые бумаги и фотографии у мамы в доме. И вдруг наткнулся на конверт с кроваво-красным крупным штемпелем: МОСКВА. КРЕМЛЬ. Волчиха, Алтайского края, улица Матросова, 17, кв. 9. Читаю — глазам не верю. Но потом-то дошло: такие письма веером по всей России рассылала кремлевская администрация, поздравляла ветеранов и детей войны с праздником Победы. Под письмом — факсимильная подпись президента. Читаю это письмецо, а рядом балаболит телевизор — опять и опять сообщает о многомиллионных взятках, о чиновниках, о губернаторах, схваченных с поличным. И тут же в голове моей начинают крутиться обрывки рассказов, услышанных в эти печальные дни: Ивана Ильича, моего отчима, умершего весной 2016 года, в морге обмывали за 500 рублей, а мамку — так мне рассказывали — за 1500 рублей окатили из шланга. Вот так взопрели цены за год с небольшим. А похоронные деньги — 6 тысяч. А пенсия у многих в нашей стране — чуть больше похоронных. Проще подохнуть, чем жить на такую подачку.

Я встряхну головой и подумаю: нет, не смогу я эту тему разрабатывать. Лучше застрелиться и не встать, чем описать весь тот позор и ужас, в котором сегодня толчется большинство людей в моем Отечестве. А телевизор — теперь уже здесь, в Дивногорске, — продолжает тарыхтеть. Теперь мне сообщают о достижениях, о том, как многоумные правители побороли инфляцию, убили колорадского жука и отправили в Сирию гуманитарную помощь на миллионы рублей, а миллиарды долларов простили странам Африки

и еще простят кому-то там. А перед глазами у меня раздавленные скромные цветы на земле — брошенные перед старой машиной, на которой маму повезли в последний путь. Перед глазами ее потрясающе скромный наряд, в котором она и предстанет перед Господом Богом. Перед глазами у меня сухой и солнечный денек — первый день октября, красно-желтый листва шабуршит под ногами на кладбище, откуда видна золотая игла Покровской церкви, новой церкви, которую — случайно, нет ли? — освятили в Волчихе именно 1 октября. Перед глазами у меня дрожня дрожит солнечный свет у мамы на лице — последний свет, прощальный свет. ТОТ СВЕТ, который светит мне теперь, как будто манит, манит за собой. «И свет во тьме светит, и тьма не обнимет его», — приходят на память слова старинного священного писания.

ПОМНИТЬ О ВЕЧНОМ

Микроскопический дождь моросил над горами с утра, мелким бисером нудил по-над тайгой, над озером, где прилепилась на каменном выступе добротная охотничья изба. Солнца нигде не видать — даже слабого намека нет за облаками. Раноутренний туман сметанился — густой, пахучий. Изредка откуда-то с каменной вершины ветровей на цыпочках сбегал, мягкими губами пощипывал траву, шаловливыми щелчками — словно щелбонами — сбивал перламутровые капли с кедров. Космато, лениво — будто в замедленном кино — туман заползал на гранитную кручу, но вскоре так же лениво скатывался к берегу, придавленный свинцовой бесконечной моросью. «Здесь теперь все цветы — водосборы!» — подумал я, с улыбкой глядя на сибирскую аквилегию, под дождем погасившую розоватое пламя своих лепестков за окном. Непогодица, как видно, затягивала свой крепкий узел. Вертолета в ближайшее время ждать не приходится. Ну, и ладно, что ж, не будем жданки попусту жевать. Торопиться некуда, и потому я не только не печалуюсь — я даже искренне рад затихориться в этом чудном месте и как можно дольше побыть наедине с матушкой-природой.

С утра в моем таежном, таинственном пристанище по углам клубится голубоватый сумрак. Потрескивая, топится печь, возле которой стоит полутораметровый ожиг — деревянная кочерга, дочерна обгоревшая на конце. Дверца в печи прохудилась от старости — желтые блики по стенам порхают, высвечивая усы и бороды белого мха, торчащего между пазами разошедшихся бревен; торфяные мшаники всегда седые. Чайник, закипая, воркует, как сизый голубь с дымчатым налетом. По стеклу чуть слышно клюет прохладный дождь. Под ветром за стеною сырой кедрач вздыхает, словно старик, вернувшийся с охоты. И все это настраивает душу на воспоминания.

Бродячая судьба моя богата разнообразными, разноцветными впечатлениями. Теперь, по прошествии лет, я все чаще изумляюсь, глядя в прошлое. Бог ты мой, какие чудеса дарила жизнь! Дороги в тайге и в полях, в горах и на море!.. Дороги по странам и континентам... Но нигде и никогда я не был ни зверобоем, ни птицебоем, ни китобоем — невинную кровь проливать не хотелось. В юности, окончив медицинское училище, поработав доктором в сибирском захолустье, я посмотрелся крови — до красных чертиков и не хотел этих самых чертиков преумножать.

В степных раздольях или в тихом таинстве тайги, в горах или на море у меня была своя охота — страстная охота за стихами, песнями, рассказами. Сочинительство — подарок Всевышнего, и одновременно этот же подарок является едва ли не наказанием. За что это дается человеку? И зачем? До сих пор я не знаю и понять не могу. Знаю только, что теперь не прожить без этого — настолько сильна и серьезна попытка осознать и выразить себя в этом мире и весь этот мир, живущий в душе. Долгое время, не имея своего угла, я сочинял на ходу, на лету — в самолетах, пароходах, поездах. Но нигде не сочинялось лучше и отрадней, чем среди красоты нашей русской природы, где так хорошо отрешиться от суеты, подумать о вечном, нетленном.

Зверя или птицу невозможно обмануть — на большом расстоянии чувствуют они, кто и зачем пожаловал в таежную обитель, вооружен человек или нет. Поэтому, когда я был вооружен только «гусиным пером», — природа не боялась. Ближе к себе подпускали глухари и зайцы, рябчик, утка и даже медведь, с которым одна-

жды «посчастливилось» столкнуться на речном перекате — ко-солапый, мохнатый рыбак на мелководье пудовыми лапами рыбу глушил; до сих пор стоит перед глазами мокрая морда зверя, и таймень, располосованный железным когтем.

Часами любил я просиживать на берегу, валяться под сосновым ароматным пологом или под березой на поляне, густо вышитой золотыми пятнами жарков, синими каплями незабудок, ветреницей или горицветом. Летом — лепота, легко и весело бродить из края в край. Летом каждый кустик ночевать пустит. Другое дело — осень, когда последний гром расколется небо и начнет под ухом нудить мокропогодица — льет и льет, без конца. Осенью трудно в тайге без сухого угла, а уж про зиму и говорить не приходится. Зимой далеко не убредешь — снега не пускают, морозы прислоняют к теплой печке. Однако и зимой в моей судьбе случались такие чудеса, какие только в сказках можно повстречать.

Чудеса эти были на Крайнем Севере, где свирепая стынь с пушечным буханьем рвала граниты, деревья в тундре. Петухами в небесах пробегали позари — северное сияние. Над горами вдали крупные звезды мерцали алмазным крошевом. А в другой стороне, над бескрайнею тундрой, луна горела в полный круг и в полный жар — снеговье серебрилось на многие, многие версты, пламенело холодным пожарищем. За двери выйти жутко — стужа задерет. Зато в избе — натоплено, в приемнике плещется музыка; что-то знакомое слышится. И вдруг ты узнаешь и улыбаешься, точно старинному доброму другу: «Да это же Чайковский! «У камелька». И так хорошо, так приятно в теплом зимовье, так задушевно музыка звучит — сидел бы и сидел «у камелька», беззаботно предаваясь мечтам или воспоминаниям. Окно оковано серебром, но можно подойти и подышать — появится темно-сизый глазок, и под звуки бессмертной музыки ты вдруг увидишь нечто такое, от чего душа твоя счастьем зацветет. В морозном тумане, в лазоревой дымке полярного, краткого дня над сугробами встает миражами, цветет и плывет былая Великая Русь. Колокола звонят — на всю округу весело расколоколились. Избы топят, дети играют, снегирями раскрасневшись на морозе. Масленица пляшет и во весь дух поет, не боится горло простудить. Кони сверкают подковками — русская тройка несется, приглашая тебя улететь на край света...

Память — и спасибо ей за это! — играючи может творить чудеса. Из белоснежных северных широт мысли мигом уносятся на желтый, жарко-знойный экватор. Вспоминаются южные страны, куда я ходил моряком, где мечтал на всю жизнь бросить якорь, беззаботно валяться под пальмами, греть пузцо да бананы жевать. О, молодость! Глупая молодость! Много лет миновало, покуда в полной мере осознал, оценил красоту и все прелести нашего русского разнопогодья. Как это здорово, как это дивно, когда весна, к примеру, плавно перетекает в лето, а там, глядишь, прохладный август руку уже протянул в сторону осени, а там, глядишь, предзимье одуванчиковым пухом распушило первый снег, и вот уже опять «зима катит в глаза». Это ли не чудо? И счастье наше русское — не в этом ли? В каждом времени года — свои великолепные, нетленные картины, сотворенные Всевышним. Есть ли что-нибудь прекрасней тех картин?.. Один мой товарищ — теперь господин — на исходе двадцатого века променял морозную Россию на теплую, вечнозеленую землю, чтобы потом, прилетев из заморского сомнительного рая, с грустью признаться: «Вы счастливы хотя бы тем, что здесь, в России, постоянно живете ожиданием прекрасных перемен в природе. А там, за морем, среди вечной зелени, душу гложет вечная, зеленая тоска!»

Давно уже я не мечтаю о жарких странах, о больших расписных теремах. Плохо это или хорошо, только со мною случилось примерно так же, как в стихах русского лирического гения: «Я утих, годы сделали дело, но того, что прошло не клянусь!» Седой, утомленный дорогами, издерганный тревогами, я все чаще думаю о простой бревенчатой избе. Купить бы, а лучше срубить — вот было бы мило дело! — своими руками сочинить по бревнышку скромное нехитрое жилище, а рядом с ним часовенку поставить где-нибудь в боровом захолустье, на берегу синеглазого озера или хрустальной речушки, звенящей горлом родников, поющей на манер пастушеской свирели. Обосноваться бы там, спокойненько жить, зимовать-летовать, думу светлую думать и лучезарным пером жарптицы писать о добром, вечном. Умываться росой, упиваться березовым соком. Блаженно уставая, босиком колобродить в траве и цветах. Пощипывать за красные бока землянику, малину. Провожать вечернюю зорю, рассыпавшую безоблачное золото в пол-

неба. Слушать милые сердцу напевы соловья, глухаря, свиристели. Слушать вздохи ветровея, шепоток листвы и муравья. Запрокинув голову, целовать глазами новорожденный месяцок, разгадывать-распутывать узоры седовласых созвездий. Смотреть, как в темень падает очередная божья спичка — сторающая комета. И без грусти, без печали сознавать, что все мы смертны и что где-то там уже горит последним светом твоя благословенная звезда. Скоро ли закатится она? Зачем гадать, когда в запасе есть еще эта огромная ночь, а за ней, глядишь, придет огромный день.

Встречая солнце, я творю молитву в тишине — молитву древних старцев, отшельниками живших когда-то на Руси. И не потому ли кажется порою, что вот здесь, в чистом воздухе русского леса, в шорохе и шепоте его растворена благодатная сила молитвы?! Здесь, и только здесь могу я быть счастливым — дышать полной грудью и впитывать радость каждого нового дня, благодарить Творца за эту жизнь, учиться терпеть и надеяться, верить, прощать и любить.

ЯНТАРНЫЙ СТИХ

Иногда мне снятся большие самолеты, серебристой молнией летящие по небу. Снятся Прибалтика, Латвия. Легковая машина с ветерком пронесится по живописной дороге — тридцать пять километров от Риги, и вот оно, распаханное ветром, засеянное солнцем Рижское взморье. Вот она — благословенная Юрмала. Дом творчества писателей стоит на берегу, окруженный сосновой стеной лесопарка, который теперь называют Национальным парком Кемери.

Рано утром выйдешь — тихо в мире, благостно. Солнце янтарным камешком лежит в туманах на горизонте. Шелковый шорох прибоа в ногах. Свежий ветер в лицо. И шумят, и шумят за спиной величавые, удивительно мощные сосны, на кряжистых лапах подошедшие к самой воде. Кажется, рано проснулся ты, литературный жаворонок, а на самом-то деле здесь уже немало тех, кто просыпается гораздо раньше. Смотришь — кто-то «бегом

от инфаркта» спасается, оставляя влажные следы на кромке взморья. Кто-то в одиночку бродит, кто-то в обнимку. Смотришь — кто-то нагнулся во время прогулки и что-то поднял. Янтарь, конечно. Тут янтарь встречается довольно часто — золотисто-солнечные камешки. Собиратели янтаря — и молодые люди, и пожилые — попадались иногда такие одержимые, как будто они собирались обустроить где-то новую янтарную комнату — взамен волшебной той, что бесследно пропала во время войны.

Равнодушный к этим собираниям, я просто любил побродить около взморья, поглазеть в туманную даль, где белый парус на ветру колыхался чайчьим крылом. Но золотистые камешки, встречавшиеся под ногами, не могли не волновать воображение лирика. Все чаще нагибаясь — поклоняясь янтарю, — я замирал, поднимая мокрый камешек и глядя на него сквозь солнце. Прищуривая глаз, я любовался каплей янтаря, в котором будто бы закипали золотинки солнечного света. И в душе моей вскипало предчувствие какого-то «янтарного стиха», который будет посвящен вековым соснам, в результате «потопа» оказавшимся на дне глубокого моря, откуда теперь штормовая волна выносит на берег мелюзгу окаменелой сосновой смолы. Но стихи это дело такое — они сегодня сами на бумагу просятся, а завтра их не сыщешь днем с огнем. Никакой «янтарный стих» тогда не написан на Рижском взморье. Но зато я услышал довольно мудреное слово — инклюд. Двое собеседников, бродившие по мокрому песку, собирали янтарные камешки и обронили это словцо. «Интеллигентные вроде бы люди, а так ругаются! — Я усмехнулся, глядя им в спину. — Интересно, что бы это значило: инклюд».

Поскольку мы ленивы и не любопытны — и я тут не исключение — мудреное «ругательство» было вскоре забыто. И только через годы, через расстояния вспомнился мне тот загадочный, странный «инклюд». Вспомнился, когда уже не стало Советского Союза; когда Латвия, Эстония, Литва отгородились границами; когда для меня, как, впрочем, и для многих других людей пропала возможность опять оказаться в Прибалтике, прогуляться по Рижскому взморью, поклониться янтарному берегу. Теперь я все больше и больше путешествую примерно так, как об этом сказано в поэме Твардовского:

Есть два разряда путешествий.
Один — пускаться с места вдаль.
Другой — сидеть себе на месте,
Листать обратно календарь.

Привычка рыться в курганах книг, перелопачивать словари по-могла разгадать загадку странного слова «инклюдз» — вкрапление останков живого организма в янтарь: это может быть насекомое, былинка, лепесток цветка или что-то подобное. И теперь — в минуты хандры или грусти, в минуты отчаянья — завел я привычку доставать свой заветный янтарь, привезенный когда-то с берега Рижского взморья. Сижу, смотрю на сказочный золотой «инклюдз» — вкрапление далеких прошлых лет. Там плещется море, и чайки хором поют. Там слышится в Домском соборе музыка могучего органа. Там любовь и молодость смеется беспечным смехом. Там мир еще не помешался на деньгах, и там существует одна только жадность — жадность жить и дышать полной грудью.

Внимательно всматриваясь в янтарь — окаменевшую каплю прибалтийской смолы, — я вспоминаю сосны родины моей и невольно думаю о том, что после смерти душа моя вернется к этим соснякам. Обязательно вернется, гнездо себе сошьет в густой высокой кроне, где медово пахнет тягучею смолой. Там какое-то время будет жить-поживать моя грешная душенька, песни будет петь в обнимку с соловьями и заодно с глухарями; тихими и темными ночами душа моя будет слушать, как звезда с звездой говорит. Но время — жестокая штука, никого не щадит. И наступят печальные сроки, когда ветер немилосердно выветрит гнездо моего беспокойного духа. Потом запылятся, забудутся книги, рожденные мной, и растворится память обо мне. И только, быть может, какая-то капля души непостижимым образом перетечет в золотую каплю янтаря, который однажды попадетя человеку на глаза и обожжет солнечными искрами, похожими на несказанный янтарный стих.